

# Записки русского путешественника. 2005

## Часть вторая. Весна

В аэропорту Шарль де Голль меня ждала удивительная встреча: на автобусной остановке сидели развеселые мои идиоты из болгарского рассказа. С ними же был и неизменный Ларс фон Триер. Идиоты вели себя не в пример раскованнее, нежели в «Бултраке». И то: Париж – это вам не Албена. Однажды вечером, изнывая от жары, брел я по задрипанной асфальтовой дорожке, бегущей вдоль побережья, и – вы не поверите! – вдруг подкатил автобус с горевшей надписью маршрута «Албена – Ад»! Да, вот так откровенно, открыто приглашали в геенну огненную. Я, конечно, благоразумно отказался от поездки, но до сих пор меня мучает вопрос: как там у них всё устроено? Наверное, очень холодно.

От встречи же с моими героями я выглядел, видно, таким счастливым, что мне можно было смело ставить диагноз и записывать в команду доктора фон Триера, но тот с таким недоумением посмотрел на меня, что я застопунился, охромякнул и немедленно скомандовал себе «цурюк». И в город уехал, конечно, на другом автобусе.

Заселился я в гостиницу «Монте Карло» на улице дю Фобур Монмартр – мне уже хорошо знакомую. И меня узнали и приняли замечательно. Я бросил в номере сумку и немедленно отправился на прогулку. Просто побрел куда глаза глядят. Так и вышел на площадь к Бобуру. Хай-тек мне нравится. Ничего не имею против. Моя кухня тоже немножко в стиле хай-тек оформлена. Художник Лёша Казанцев изобретательно красил мне розетки

в красный цвет, трубы, которые наружу, – в синий, а когда кухня была готова, принес свою картинку, где был нарисован снеговик, уже разрушавшийся от весеннего воздуха, и в теле разрушенного снеговика уже появлялись части тела очкастого чиновника с портфелем, сильно похожего на начальника управления культуры времен перестройки. Картинка была пришпандорена кривым гвоздем над кухонным столом. Чистая сепия.

Ну да. Бобур. Сначала я попал в зал, где демонстрировалось современное искусство. Я не ретроград, как вы уже поняли, но экспозиция привела меня в уныние. По всему сумрачному огромному залу бы развешены какие-то мешки, напоминавшие слоновьи яйца. Их было очень много! Я почувствовал себя пигмеем племени бамбути, выслеживающего слонов. Оставалось незаметно подкрасться к отбившемуся от стада и задремавшему бедолаге и перерезать ему сухожилия на задних ногах. Потом дожидаться, пока слон не помрёт, отсечь хобот, утащить его на полянку и, конечно, тут же устроить буйный пир, на котором слоновий хобот, запеченный в банановых листьях, был, понятно, главным деликатесом. А не яйца, бвана! Почувствовал себя Ганзелкой и Зикмундом. Ушел из этих джунглей в расстроенных чувствах. Поднялся наверх по лесенке-чудесенке – ба! Да это ж мой любимый Лотрек! Всё это дело уже изрядно выцвело, но бодрило не хуже рюмки коньяка. Вышел в прекрасном расположении духа.

По площади важно, как павлины, ходили туристы. Их развлекали какие-то клоуны, мимы и фокусники. Народ столпился возле какого-то длинного мужичка в кургузом пиджачке, коротких брюках с неопрятной бахромой и с увлечением смотрел, как артистично тот жрет бритвы. Точнее, лезвия от безопасной бритвы. При мне он проглотил штук десять. Деньги текли рекой. Я не стал до-

жидаться, когда он всё это дело вынет из-за уха или еще откуда, и тихонько испарился.

Однако и мне надо бы подкрепиться, подумал я и соблазнился длинным бутербродом с лотка уличного торговца. Белый хлеб был теплым и хрустящим, но кружки сырокопченой колбасы были уж больно тоненькими. Как бритвы. Но вкусными. Шел, жевал, вертел головой. Перешел Сену и незаметно оказался на знакомой улице Ошет. В тенечке сидел китаец совершенно профессорского вида и усердно работал кисточкой. Немногочисленные зеваки называли имя, и профессор лихо переводил его в иероглиф на небольшую картонку с красной каемкой. Я знаю иероглиф «жэнь», что значит «человек» – он довольно простой, и решил проверить: не надувательство ли вся эта каллиграфия. Стал объяснять китайцу, что имя мое Евгений, по-гречески Евгениос, что значит «благороднорожденный», по-английски Юджин, по-французски Эжен, по-итальянски Эудженио, по-испански Эухенио, а дома меня зовут просто Женя. Он внимательно слушал меня, кивал головой. Умакнув кисточку в пузырек с тушью, он мигом нарисовал довольно сложную картинку, но в центре ее стоял, как якорь, расшеперившийся иероглиф «жэнь». Остальные завитушки, очевидно, уточняли мое благородство на всех языках. Отдав профессору три евро, я, помахивая картонкой, чтобы тушь просохла, пошел по кривой улочке дальше – вот, казалось бы, всё такой же, но ведь увековеченный и обремененный звучным эпитетом. Да, я уже не чувствовал себя дикарем, как в первый свой приезд сюда.

Неожиданно впереди возникла организованная толпа. Стоят плотным кружком и куда-то напряженно смотрят и молчат. Господи! Да это ж тот самый клошарного вида артист! Он уже здесь! Сменил дислокацию. Но здесь он с невероятной скоростью поглощал сигареты. Прикури-

вает, затягивается и – оп! – глотает. Потом закусывает горячей спичкой. Работал как конвейер. Номер свой повторял с абсолютной точностью: лицо бесстрастное, вычурные жесты – как у мима. Я попытался обойти толпу, но застрял возле прилавка, на котором красовалась свежая выпечка, мною не виданная. Все эти булки, витушки, кренделя были обсыпаны орехами, смазаны каким-то корицевым сиропом, и дивный запах клубился облаком. В этом облаке стоял булочник в белоснежном колпаке и с интересом смотрел поверх голов на действие. Но публика откровенно скучала, несмотря на зверский аппетит клошара, и стала потихоньку расходиться. И вдруг несчастный выпрямился, поднял голову и стал что-то декламировать. Голос у него был глубокий, густой и немного измученный, как у старого актера какого-нибудь академического погорелого театра, уехавшего на гастроли в провинцию. Я искоса глянул на булочника. Тот восхищенно посмотрел на меня и прошептал: «Аполлинер». И мне почему-то стало не по себе.

Я побрел в Люксембургский сад. Погулял по песчаным дорожкам, выпил сладкого шоколаду, полюбовался на дворец, который был мне хорошо известен по фильму «Граф Монте-Кристо» с Жаном Маре в роли Эдмона Дантеса. Именно здесь когда-то заседала Палата пэров и здесь разоблачили коварного Фернана де Морсера, намылившегося в пэры. Попытался представить себе подобную картину в Совете Федерации, но тщетно. Никак не вырисовывался сей казус. Или воображение мое оскудело донельзя? Огорченный пошел прочь в надежде выйти к Дому инвалидов (говорят, там великолепная коллекция старого оружия), но неожиданно набрел на музей Родена. Мыслителя пока не свергли, и он всё так же сидел, тяжело задумавшись. И захотелось присесть куда-нибудь на камушек, задуматься, но мысли были всё какие-то

мелкие. Внимательнейшим образом рассмотрел Врата Ада. Размером с парадный вход в нашу библиотеку имени Белинского, где я состою в Наблюдательном совете. Но так-то у нас, скорее, Врата Рая. И хорошо бы их украсить какими-нибудь райскими историями, персонажами, но столь же выразительными, как inferнальные дантовские. А где ж сегодня такого скульптора взять? Ваяют уличную чепуху, изводят бронзу многопудьем, а ведь можно было бы, например, на пешеходной улице Вайнера поставить пронизанные мощным эротизмом прекрасные скульптуры Андрея Антонова. Или вместо Якова Свердлова, что возле Уральского университета ораторствует, поставить копию этого самого Мыслителя. Тем более окна философского факультета выходят как раз на эту площадь. А Якова Михалыча переместить в сквер на набережной Исети, где сейчас находится оружейный магазин, а сто с лишним лет назад находился дом антиквара Плешкова. В этом доме пламенный революционер какое-то время скрывался от полиции (по крайней мере, так уверял внук Плешкова – известный краевед Всеволод Слукин). И все будут на своих местах.

В музее долго ходил, трогал руками. Бронза очень хороша, но мрамор меня не очень-то впечатлил. Мне кажется, у нас в Эрмитаже и в Изобразительном музее имени Пушкина роденовский мрамор гораздо сильнее. И вообще искусство того времени представлено достойно. Умели Морозов да Щукин выбрать! Пока здешние маршаны чего-то выжидали, крутили носами – наши-то всё лучшее и купили-с. Да-с! Французы сейчас к нам ездят посмотреть шедевры. Но до чего ж хорош Бальзак! Не тот надменный мощный исполин, что в невероятной хламиде дерзко утвердился на углу бульваров Распай и Монпарнас, а совершенно голый Бальзак! Однако не в беззащитной наготе, а сильный, крепкий, с изрядным животиком, и тоже таким

крепеньким, аккуратным. Я с тоской потрогал свой – да, пожалуй, не меньше будет, но какой-то рыхлый. Да черт бы с ним, животом! У Будды вон тоже пузцо. А живот – это жизнь! Но и проза, проза у Бальзака – сама жизнь. Полнокровная, мускулистая! Да, избыточная. Но уж лучше, чем недостаточная. Я вот со своим убогим минимализмом, со своей недоговоренностью, недостаточностью числюсь писателем, и даже не третьей руки, а, скорее, четвертой. А может, и вообще никакой не писатель, а так, журналист занюханый. Эх, пойду, забурюсь в какое-нибудь кафе, спрошу горького кофию и напишу стишок. Все провинциальные журналисты пишут стихи. В основном, конечно, плохие. И качественная проза у них редко получается.

Тут набежали тучки, и пошел легкий дождь, но быстро закончился. Домой! Домой! К теплому камельку, клетчатому пледу, настольной зеленой лампе, толстой книге. По дороге я заглянул на улицу Бак, постоял возле дома д'Артаньяна, не героя Дюма, а настоящего капитан-лейтенанта королевских мушкетеров со сложным именем – Шарль Ожье де Бац де Кагельмор, граф д'Артаньян. Впрочем, кто из них более настоящий – это еще надо подумать. Надо бы заглянуть на улицу Сервандони (бывшую Могильщиков), где снимал комнату славный рубаха-парень – шевалье д'Артаньян, который и есть самый настоящий.

В отеле я распаковал дорожную сумку и продумал распорядок своего небольшого отпуска. Утром – кофе в кафе, что на углу нашего квартала. За кофе – необходимые записи, затеси, крохотки в амбарную книгу. Потом в номер – марасть бумагу, смолить табак. Потом – в город. Тут уж без всякого плана. Просто бродить, скользить в паутине улиц и переулков, просто глазеть по сторонам, а наткнувшись на что-нибудь интересное – непременно освоить и присвоить.

Я лежал на широкой кровати, вспоминал свое прошлое путешествие. Тогда была осень, и я чуть не умер от светлой меланхолии и легкого счастья бродить по садам, скверам, по бульварам, засыпанным большими желтыми листьями. А сейчас – весна! Париж дождливый и лиловый – плащом промокшим льнет к коленам. И ничего не значит слово, пока не вырвешься из плена девятого аррондисмана – из сна, из ночи изумрудной бульвара имени Османа, – вернувшись в город горнорудный. Однажды вечером туманным... Утром меня разбудил механический соловей, но это я понял только потом, а сначала подумал, что это заголосил настоящий соловушка, невесть откуда залетевший в самое сердце города. Сказочный город, что и говорить. Действительно, цветут каштаны. Ликуют птицы то и дело. И набережная туманов осталась в фильме черно-белой. Где Жан Габен, как бледный демон, как дух изгнания, грустный воин. Кромешная рябая темень. И от тоски собака воет. А здесь – Зидан улыбкой телезвезды с автобусов сияет. И я – в двухзвездочном отеле Бертра на Рассела читаю.

Исполнив утренний план со всей строгостью, на которую был способен, я двинул на Монмартр, дабы с высоты холма определить общую городскую диспозицию и выбрать если не пути-дороги, то хотя бы направление прогулки. А заодно и заглянуть в харчевню «Проворный кролик». Уходя в незнакомый город, не читаю путеводители, рекламные листки, а полагаюсь на интуицию, на русский авось и на свойственную мне беспечность. В церковке Сен-Пьер-де-Монмартр погладил древнюю колонну (говорят, еще из римских времен) и с белесой тончайшей каменной пылью на руках пошел на площадь Тертр, где местные художники делали свой бизнес. Ну, этого добра я багато бачив на блошином рынке напротив нашего цирка, куда обычно ходят мелкие чиновники из

городской администрации, ответственные за подарки ко дню рождения своих коллег, и где можно было «за недорого» укупить какой-нибудь пейзаж с ядовито-зелеными рошицами и розовыми перьями заката, напоминавшего залежалую пастилу. Меня же заинтересовал восточный человечек (Вьетнам? Лаос? Камбоджа?) в строгом черном костюме и котелке, лихо щелкавший блестящими на солнце ножницами и вырезавший профили из черной бумаги. Меня он вырезал очень комплиментарно. Просто Моцарт какой-то получился, ей-богу! Заиграла шарманка. Шарманка была настоящая. Шарманщик тоже был настоящий. Бородатый, в крылатке, мятом цилиндре, с чудесным рокочущим голосом. Наверно, это и был настоящий шансон. Без всякой примеси. Впрочем, о настоящем шансоне я знаю мало. Кажется, Аристид Брюан, которого увековечил Лотрек, был настоящим шансонье. Дома у меня есть Жорж Брассенс, Жак Брель. Ну, понятно, слушал я и Эдит Пиаф, и Мирей Матьё, и даже Милен Фармер. Поют чудесно, но насколько всё соответствует жанру, не могу сказать, увы. У нас ведь тоже «русские народные» поет Бабкина. И многие думают, что это настоящие русские песни. Эх, послушали бы Елену Сапогову! Мужской ансамбль «Багрень»!

Музей Дали внутри напоминал новомодную лавку с попсовым товаром. Гигантские губы, слоны и носороги на паучьих ножках и, ясен перец, текущие часы во всех видах. Такие штуки любят провинциальные нувориши: скупают все эти скульптуры и скульптурки (копии, понятно, но с сертификатом – дескать, авторская работа, ну и, само собой, подпись... натуральна... печать... соответствует... Ажур!), опять же постеры, безделушки сюрные, а потом еще и выставляют напоказ эти сокровища в местечковых музеях. Но в зальчиках-то пустынно. Как-то охладела публика к знаменитому художнику и не томит-



ся в очереди, как в ранешные времена в «Макдональдс» на Пушкинской площади, не песочит его за плохое поведение или, напротив, не восхищается безобразиями. У меня тоже с некоторых пор чисто академический интерес к Дали. А ведь когда-то давным-давно, почти полвека назад, дали мне почитать Кукаркина «По ту сторону рассвета», и я, как замороженный, разглядывал скверные репродукции его картин, которые должны были показать упадок западного искусства. А потом, уже года через два, Маша Еремеева показала мне альбом Дали, который привез из зарубежной командировки ее папа, профессор Еремеев, завкафедрой эстетики философского факультета УрГУ, и я даже немножко заважничал, ибо теперь в умной беседе с однокурсницами мог вывернуться эдаким кандибобером и вернуть в разговор что-нибудь эдакое экзотическое, отчего девушки темнели глазами. И глаза эти казались мне бездонными.

На стенах с подсветкой висели картинки. Литографии. Иллюстрации к Библии и «Дон Кихоту». Я остолбенел. Энергия, исходившая из этих картинок, была невероятной. Десять тысяч вольт! Слава богу, я был надежно заземлен, иначе был бы испепелен немедленно. Не знаю, постоянная ли это экспозиция музея или выставка к ним заехала какая, но надо бы служителям музея сюда повесить жестяную табличку, какие висят на высоковольтных столбах. С оскаленным черепом и грозной молнией.

«Проворный кролик» был закрыт, и я заглянул в KONSULAT. Сонный буфетчик принес кофе. Я сидел на скрипучем стуле, и на мгновение мне показалось, что комната наполнилась шумом голосов, запахом пота и кислого вина. Но греза оставила меня. Я выпил кофе, выпил сельтерской, огляделся по сторонам – никого! Ни бесплотных призраков из прошлого, ни ставших призраками друзей из настоящего.

Недалеко от Булонского леса обнаружилась еще одна «Ротонда». Ну это уже слишком! «Ротонда» это вам не сетевая забегаловка. Такие вещи должны быть в одном экземпляре. Я настаиваю, медам и месье! Придется обедать в «Курящей собаке». Луковый суп там хорош. Буду лакомиться луковым супом. Живу в Предместии Монмартра. Прилежно изучаю карту. Парю над городом совой, маршруты прокладывая свой. Напившись кофию, к полудню иду туда, где многолюдье. Прольется быстрый дождь – зато сияет город золотой. От Опера Гарнье – налево. Бросаю взглядов частый невод. Иду беспечным рыбаком, попыхи-вая табаком. Париж вполне однообразен – один сплошной какой-то праздник. Наверно, есть труды и дни – они, однако, не видны. Я посетил Святой Евстафий. Нашел немало эпитафий. Дескать, лежит министр Кольбер – его судьба другим пример. Конечно, это очень мило. Но что напишут на могилах министров наших, как придет – и неизбежно! – им черед? «Трудился много и упорно. Провел блистательно реформы. Был мудр, как Дроздобород. И свой искоренил народ». Один наследник Талейрана неслыханную толерантность вдруг проявил – и авангард тому был несказанно рад. А поступил он очень просто: он в Тюильри наставил монстров – и всех приятно удивил. Я б Миттерана удавил. А может, это я старею? От авангарда не дурею. И не хожу на Пляс Пигаль. (И этого немного жаль.) Бобуру Лувр предпочитаю. Бертрана Рассела читаю. И вижу: Средние века недосягаемы пока. Толчемся на обломках славы имперской и грустим лукаво о прошлом... Всё опять о нем. И тихо-тихо вспять идем. (Когда б не наши берендеи, что сбрендили и обалдели от неожиданных свобод – пошли б затылками вперед.) Увы, к античности просторной нам не пройти дорогой торной. Скорее, ждет нас Вавилон Месопотамский. И полон. Какое всё же было чудо, когда возник из ниоткуда афинский сад среди камней под небом Греции моей!

И пусть Сократа отравили – прилично всё же жили-были. И бронзой там сверкала речь, как обоюдоострый меч! А наш язык журчит клепсидрой. В нем мало спирта, много сидра. Слепы поэты, как Гомер. Мои стихи тому пример. Лежу в отеле «Монте Карло», до дыр зачитываю карту. А надо бы, едрена мать, Бертрана Рассела читать! В Париже тихо, слава богу. Идут евреи в синагогу. Стучит сапожник молотком. И пахнет кофе с молоком. В берете и плаще неброском идет француз по перекрестку и ежедневный свой багет несет, как будто багинет. В цветущем парке на поляне играют свадьбу мусульмане. Фотограф двадцать раз подряд наводит фотоаппарат на живописное семейство, что в ряд расселось на скамейке. Лишь пара чопорно стоит, организуя, как магнит. Есть специальные кварталы, куда ходить вам не пристало – там черти черные кругом, там грех, Гоморра и Содом. Гламур, лямур – все эти штучки призывно турок вам озвучит или какой-нибудь арап и быстро птичку цап-царап. И кто спускался в преисподню – тот выходил в одном исподнем. А могут и поставить бланш. Так не ходи на площадь Бланш! Сижу, брюзжу, философ старый, курю кубинскую сигару я на бульваре Сен-Мишель – и много видится отсель. Такая вот бодяга, братцы. Я описал всё это вкратце. Засим кончаю письмецо. Держитесь, братцы, молодцом.

## Записки русского путешественника. 2007

### Часть третья. Лето

Раз пошел такой Вивальди – режь последний огурец. Музыка играла и играла, и я даже успел записать ноты,

но, увы, опубликовать это дело не могу. Путешествие мое покрыто тайной, которая принадлежит не только мне. Осталось некоторое свидетельство в виде рифмованных строчек, и этого для третьей части будет вполне достаточно.

Не заманят «Куполь» и «Ротонда», не пойду в «Клозе-ри де Лиля». Наша книжная память как бомба – без запального фитиля. Я в кафе с непонятным названием буду с полькой из Кракова пить. И убогого образования хватит, чтоб о любви говорить. Буду бледные рончики пани с бедной нежностью целовать. Буду (это бывает по пьяни) я Еременко Сашу читать. Извлекать буду корень из слова, возводить буду в степень слова. От стихов этих темно-лиловых закружится ее голова. От стихов этих некуда деться! Вкруг – метафор встает бурелом. И она зарыдает, как в детстве, – так же горько и так же светло. След помады подсох на стакане. В золотых конопушках лицо. Плачет ясновельможная пани. Но то цо, говорит, но то цо? Где-то в Гдыне, а может быть, в Гданьске – бедный Марек... Не будем о нем. И глаза Каролины Собаньской загораются желтым огнем. Ты в Париж мотыльком залетела, чтоб на крыльях пыльцу уберечь. Значит, все-таки Польша сгинела? Иссеклась Посполитая Речь? Рассветет. На казенном диване я усну на плече золотом. И сиреневый куст полупьяный будет что-то ворчать под окном.

.....  
.....  
.....  
.....

Я рыскал призраком в Европе – искал заветную шинель. Витали в воздухе сиропном удушливо духи «Ша-

нель». И Клиньянкур – чудесный рынок – прошел я из конца в конец. Соболю шубу за бесценок навяливал мне продавец. Благоговейно у жилеток бальзаковских я стоял. Сутаны, сюртуки, горжетки накатывали как девятый вал. Хемингуэя свитер серый примерь – нет, не подошел. В «Тати» набрал носков без меры, но вот шинели не нашел. Весь мир вертелся каруселью, и с приступами тошноты – тягучий запах карамельный преследовал до темноты. А ночь на Пляс Пигаль нагая играет в тысячу карат, и башня Эйфеля пугает, как марсианский аппарат. И стало пусто и постыло, что праздник вовсе не с тобой. Я не нашел шинели милой. Бери «Шанель», пошли домой.

## Записки русского путешественника. 2011

### Часть четвертая и последняя. Зима

*Не вижу ни одного человека. Сначала были морозы, был гололед, теперь идет дождь, всё течет – это здесь называется зимой, без конца то одно, то другое. Хватит с меня Парижа, на нем какое-то проклятье.*

**Райнер Мария Рильке, 1913**

Мы с Игорем Сахновским были приглашены во Францию на Дни русской книги. Дело было в пригороде Парижа, в Кремлен-Бисетр. Стоял январь, не то февраль – какой-то чертовый зимарь!

Приглашенных было много. Киевский писатель Андрей Курков, наш российский Андрей Геласимов, наш ураль-

ский Николай Коляда, вполне европейский Владимир Сорокин, еще кто-то. Ну, Сорокина я даже и не видел, как, впрочем, и Коляду, который сразу куда-то пропал.

После выступлений, круглых столов (овальной формы) вечером мы небольшой группой собирались в буфетной отеля, пили красное вино и беспечно трепались. Мне нравилось закусывать вино маринованной скумбрией, хотя я подозревал, что это дурной тон. Единственной женщиной среди нас была Оля Данилова, которая и устроила через магическую женщину Кристин де Местр приглашение мне. Оля защищала в Сорбонне диссертацию о русских в Париже, свободно говорила по-французски и была чрезвычайно мила. А днем мы участвовали в семинарах, выступали перед немногочисленной публикой, ходили на экскурсии, заводили знакомства с переводчиками, издателями.

В мэрии, когда переводчикам раздавали премии «Руссофония», открылась выставка русских художников. Преобладали картины, навеянные девичьими снами, – какие-то белогривые лошадки, открыточные принцессы в золотинках, пейзажи, подернутые нежно-голубой дымкой. Богато и благопристойно организованное пространство, пронизанное косыми лучами заходящего солнца. Всё это благолепие разрушал дальний угол, увешанный заскоруждыми холстами без рам. Черно-белая Москва, грязный снег, тени, копченая рыба на газете, бутылка водки за 2 руб. 87 коп. Сам художник одиноко сидел на стуле и задумчиво разглядывал публику сквозь очки. Оскар Рабин! Легендарный Оскар Рабин! Мне бы, дураку, подойти, затеять разговор, но я стушевался, не осмелился – о чем до сих пор горько жалею.

Игорь представил меня Семёну Мирскому – главному редактору русского отдела издательства «Галлимар». Они были накоротке. Семён собирался издавать новый

роман Игоря. Мне же сказал, что читал мою книгу, и некоторые рассказы ему понравились, но начинать с книги рассказов – это совершенно провальное дело. Вот «Галлимар» рискнул издать рассказы Улицкой – и они не пошли. Ну не берут привередливые французские читатели короткие истории. Издали повесть «Сонечка», и публика заинтересовалась. Тогда и рассказы заодно раскупили. Женя! Нужен роман. Но у меня нет романа, я не пишу романы, сказал я. А повесть? Напишите повесть, Женя! Мы ее издадим, а уже второй книгой, если первая будет успешной, запустим сборник ваших рассказов. Я попытался сказать, пишу вообще одну книгу, так сказать, *opus magnum*, и пространство книги едино, все рассказы аукаются друг с другом, что это сложная архитектоника и еще что-то в том же духе, но Семён был неумолим: повесть! Только повесть! Листа на три! Ну хорошо, сказал я, будет повесть. (Повесть я, как и обещал, написал, выслал Семёну, и он ответил мне теплым письмом, где деликатно сообщил, что повесть его не заинтересовала и вряд ли заинтересует французских читателей, ибо слишком социальна, а после мемуаров Собчака интерес к социальным текстам как-то угас, но есть, есть куски замечательные, вот, например, очень хорошо Ад изображен. Я написал Семёну, что повесть вряд ли социальна – скорее, экзистенциальна, но он посоветовал мне отдохнуть, набраться сил, съездить куда-нибудь на острова в Полинезию, как Стивенсон. И название, название никуда не годится! Сменить бы надо. Слишком напоминает Солженицына. Да нет же, отвечал я ему, название как раз в точку, потому что главный герой ходит по своему району, как Иван Шухов по зоне.) Повесть называлась «Один день депутата Денисова». Была издана тиражом двадцать тысяч экземпляров. Но на французский так и не переведена – и вряд ли это когда-нибудь случится. Да и правильно, наверное.

Кто там, в прекрасной Франции, поймет мятущуюся русскую душу? Семён был обаятелен и остроумен. Рассказывал, как он работал вместе с Гайто Газдановым. Рассказывал, как однажды Антуан Галлимар пригласил его посмотреть библиотеку издательства, где на полках лежали только рукописи ныне знаменитых писателей! Была там даже рукопись «Под сенью девушек в цвету» Пруста, которую, к слову сказать, «Галлимар» печатать не стал. Но рукопись приобрел. Как странно тасуется колода!

Хорош был итальянский кабачок в Латинском квартале, который держала итальянская семья – семь братьев и строгий папа. Мы веселой компанией хлебали жидкий итальянский супчик, который супротив наших щей, конечно, просто баланда. Потом принесли мясо. Мясо не запомнилось вовсе. А пили кьянти. Вино было домашнее, его доставали из погреба, ставили на стол в запотевшем глиняном кувшине. Хорошее было вино. Но чуть водянистое.

Потом купили почему-то португальское вино в лавке, которое пили уже на бочках в каком-то закутке в Доме культуры, где нас застиг мэр района. Сначала он пообнимался со своим другом Курковым, потом сильно огорчился, что мы пьем португальское вино, а не французское. Видя, что нам нечем открыть бутылки, он громогласно приказал немедленно отыскать штопор. Во все стороны кинулись тридцать пять тысяч курьеров, всё перевернули, но штопора так и не нашли. Тогда я сходил к вахтеру, дремавшему у стеклянных дверей, и спросил у него инструмент, на мой ум, естественный для любого вахтера в любой стране. Французик из Бордо, конечно, ни черта не понял. И тогда я разыграл пантомиму наподобие той, что в рассказе Шукшина «Танцующий Шива». Мне немедленно был вручен штопор, и я победительно вернулся к друзьям, всё еще ковыряющимся в пробках. Хорошо пошло португальское вино под сухой сыр, который мы



раздербанили на газетке. Получилось живописно. Почти как у Рабина на картинках.

И вот однажды на встречу с писателями пришел месье, который объявил себя бароном Дантесом, праправнуком, не Эдмона, разумеется, а того самого Дантеса. Он горько посетовал, что его не принимают в русском обществе, а он ни в чем не виноват, ну, набарагозил, дескать, его предок, а он-то тут при чем? Я вспомнил его. Он приезжал, кажется, на пушкинские дни памяти в Россию, на которые собрались родственники поэта. Но в благородное собрание ему даже двери не открыли, через распорядителя объявив, что не желают его видеть. Тогда обиженный барон нашел в какой-то московской глухомани какого-то удивительного потомка Пушкина с фамилией Геринг и с именем-отчеством Юрий Владимирович, вытащил его к памятнику на Тверском бульваре и распил с ним бутылку шампанского, которое он принес с собой. Всё это снимали какие-то прохиндеи журналисты, комментируя с какой-то залихватской дуростью. Но больше всего меня поразило, что потомки эти разлили шампанское в пластиковые стаканчики! Н-да. И вот этот Дантес смотрит на нас жалобными глазами ньюфаундленда и рассказывает свою горестную историю. Оля Данилова старательно переводит. А пойдем-ка покурим, говорю я Игорю. И мы выходим на крылечко. И я говорю: «Дело не кончено!» Дыша холодным дымом французских сигарет, которые мы привезли из России, я сказал Игорю, что мы, русские литераторы, просто обязаны вызвать этого Дантеса на дуэль и стреляться с ним на десяти шагах. И если я не попаду в барона и он убьет меня, то тебе, Игорь, обязательно надо его застрелить. Не промахнуться и непременно застрелить наповал. Кроме нас – некому. Ты прилично стреляешь? А то, понимаешь, у меня

зрение уже совсем село. А ты недавно сделал операцию на глаза, тебе хрусталики заменили. Игорь вдохновенно кивнул. Мы энергично растерли окурки и решительно пошли искать барона. Но не нашли! Смылся барон! Видно, что-то почувствовал, шельма.

Любому празднику приходит конец, закончилась и наша маленькая фиеста. Попрощались сдержанно, но с чрезвычайной симпатией друг к другу. Из гостиницы пришлось съехать. У меня оставалось еще три дня до самолета, и я поехал на дю Фобур Монмартр. В отеле «Монте-Карло» всё было по-прежнему: невозмутимый Шаин за стойкой, мой старый добрый номер 207.

На улице было мерзко. То мелкий дрянной снег, то ледяной быстрый дождь, то холодное солнце. Не сказать, что я был одет по погоде, но как-то угадал, что со мной обычно не происходит. На мне были потертые вельветовые штаны и твидовый пиджак, в которых я выглядел то ли оксфордским профессором, то ли фермером, а поверх – короткая дубленка невероятного цвета и странного покроя. Нелепая, как лошадь у д'Артаньяна. По словам Рошфора, лошадь сначала была ярко-желтой, потом он назвал ее оранжевой. Но Жерар Баррэ у Бернара Бордери уверял, что его Вельзевул был зеленого цвета – зеленого! А Жерар Баррэ – настоящий д'Артаньян, что ни говори. Ну не Боярский же! Моя дубленка, похоже, была сшита из шкуры неведомого полосатого животного и неизменно вызывала изумление почтенной публики и ехидные вопросы типа: из какого такого зверя она сделана? Я отшучивался, что однажды заблудился в дождливых лесах Тасмании, пришлось питаться одними тасманийскими тиграми, а из их шкур – вот, построил себе... э-э... полупальто.

Улочки, переулочки – всё вдруг осточертело. Захотелось чего-нибудь крепкого. Выпив в бистро дешевого

коньяку, я повеселел. И настроился весьма дружелюбно к неторопливым прохожим, к зевающим продавцам всякого пронафталиненного барахла, которое было вытасщено на тротуары из магазинчиков. Но скоро коньяк выветрился из башки, и опять стало как-то угрюмо и пусто.

Вернувшись к отелю, я зашел в винную лавку – аккуратно напротив – и купил две бутылки шабли. Продавец уверенно поднял толстый большой палец, одобряя мой выбор. Но в вине я всё равно ничего не понимаю. Выбирал самое простое на вид, а заплатить пришлось какие-то несусветные деньги. Потом зашел в булочную, набрал теплых булок. Тут же купил с лотка печеную куропатку, а может, это вовсе и не куропатка была, а просто маленькая курица, кто ж знает... Захотелось сыру, но махнул рукой и пошел к себе. Шаин за стойкой был невозмутим.

Я пил вино, щипал хлеб, в окне стоял серый день. В комнате было холодно. Я подумал, что надо бы все-таки сходить купить крепкого. Запел вполголоса «Ой, мороз, мороз». Допел до конца, выпил вина. Затянул тихонько «Лучину».